

угрозу всеобщей резни. Тральфамадор — как будто бы планета разума, на которой не бывает войн. Но какие бы удивительные открытия ни ожидали здесь воннегутовского героя, одно оказалось для Билли вполне привычным и на Тральфамадоре: человеческая жизнь на этой планете была столь же абсурдной, как и на Земле.

То, что на Земле проявлялось как вспышки опустошительных войн, на Тральфамадоре горит всегда ровным, холодным пламенем. А ведь «если бы войны даже не шли на нас, как ледники, все равно осталась бы обыкновенная матушка-смерть». Не физическое умирание — смерть в душе, смерть идеала и надежды, беспомощность перед абсурдом, который не скроет даже развитая до совершенства способность юмористически воспринимать все происходящее вокруг. Таков итог длительных путешествий Воннегута и его героя во времени.

Отблески Дрездена и Хиросимы на страницах книги Воннегута так явственные, словно бы роман писался по свежим следам этих событий. В интервью после выхода «Бойни номер пять» Воннегут сказал, что готовился к этой книге много лет, возвращаясь памятью к пережитому в Дрездене на исходе войны. Вводная глава романа свидетельствует, что автор не удовлетворен своим творением. «Эта книга не удалась, — говорит Воннегут, — потому что ее написал человек, обратившийся в соляной столп».

Книгу Воннегута нелегко читать: мешают ее разорванность, хаотичность, подчас — и композиционная бессвязность. Еще больший ущерб наносит роману предельный пессимизм автора: концепция войны как тотальной бессмыслицы, как проявления истинной — бесчеловечной — сути современной цивилизации — не может быть механически применена к войне против фашизма, сколь бы достойными и вызывающими сочувствие ни были антимилитаристские побуждения, двигавшие пером Воннегута.

Однако сама безнадежность, пронизывающая «Бойню номер пять», по-своему неприторна. Она показательна для понимания духовного климата современной Америки, для понимания настроений, столь распространенных в этой стране сейчас, через двадцать пять лет после победы.

А. ЗВЕРЕВ

## ПИСАТЬ СТИХИ ПО-ФРАНЦУЗСКИ!

Дю Белле и Ронсар. Стихи. Перевод с французского, вступительная статья и комментарий Вильгельма Левика. Москва, «Детская литература», 1969. 175 стр.

«*П*исать стихи по-французски!» — так назвал В. Левик свою вступительную статью к сборнику Дю Белле и Ронсара. Это название перекликается со словами, поставленными эпитафией к этому изданию: «Идет он подвига неторною тропой» (Дю Белле).

Я бы не назвал статью вступительный очерк к книге. Это живой, взволнованный рассказ о времени и о людях, которые начертали свои имена во времени. Одна из сложнейших эпох — эпоха становления французской национальной культуры — осознана не в отвлеченных понятиях, а в полнокровных, осязаемых образах. Надо было глубоко пережить творчество каждого из этих поэтов, чтобы так рассказать о трагической во многом, но вместе с тем и величавой судьбе зачинателей современной (в широком смысле) французской поэзии, которые встают перед нами во весь свой рост не как призраки, ушедшие в историю, но как живые люди, близкие современному читателю.

Оба поэта были реформаторами французского языка, оба пришли в эпоху его безвременья, когда многие французские поэты писали по-латыни, считая свой родной язык слишком бедным и невыразительным. Но не только язык обогатили и облагородили Дю Белле и Ронсар, они ввели во французскую поэзию множество новых форм, обогатили ее строфику, а главное выразили новые чувства и мысли, положившие конец средневековому мышлению, — чувства и мысли людей Ренессанса.

Имя В. Левика давно известно всем, кто любит поэзию. Подписанные этим именем переводы читаются с доверием ко вкусу и дарованию переводчика. Ведь это он одарил нас своеобразной антологией «Из европейских поэтов XVI—XIX веков», по-новому прочитал таких «труднопереводимых» поэтов, как Гейне и Бодлер, по существу, открыл русскому читателю лирику Камюэнса и большого австрийского поэта Н. Ленау. Переводческая деятельность В. Левика высоко оценена не только у нас, но и в зарубежных странах, в особенности социалистических.

Диапазон В. Левика широк. Он познакомил русского читателя и с классиками и со многими современными поэтами. Петёфи, Томпа, Янош Вайда, Арань — такова поэтическая Венгрия В. Левика. Будучи одним из



редакторов антологии польской поэзии, он сам перевел Мицкевича, Словацкого, Выпянского, Броневского, Ивашкевича, Тувима. От Гете, Шиллера, Бюргера до поэтов антигитлеровского Сопротивления в Германии, до крупного мастера пролетарской поэзии И. Бехера — такой предстает поэтическая Германия в переводах В. Левика.

Среди заслуг Вильгельма Левика — открытие нашему читателю поэзии Дю Белле и Ронсара. «Лишь повседневное всегда воспеть готов, я — худо ль, хорошо ль — пишу стихи на случай» — стихотворением с такими строками, я бы сказал программными, открывается книга. Почти неизвестный у нас Дю Белле (1522—1560) предстает как один из глашатаев победоносного художественного метода реализма. «И, непричесанный, без фижм и парика, незнатный именем, пусть он войдет в века наперсником души и дневником сердечным», — это говорит о своем стихе не только Дю Белле, это сумел точно, адекватно выразить его русский переводчик.

Стихи Дю Белле, как уже было сказано, не антикварная ценность, а глубокие, страстные раздумья человека, исповедующего высокие нравственные идеалы, умеющего судить себя самым строгим судом, жаждущего истины и справедливости.

Дю Белле был большим мастером сонета. Вот один из шедевров французского поэта в переводе В. Левика:

Я не люблю двора, но в Риме я  
свободу я люблю, но должен быть рабом,  
Люблю я прямогу — лъстецам открыл свой дом;  
Стяжанья враг, служу корыстности  
позорной.

Не лицемер, учу язык похвал притворный;  
Чту веру праотцев, но стал ее врагом,  
Хочу лишь правдой жить, но лгу, как все  
кругом;  
Друг добродетели, терплю порок  
тлетворный.

Покоя жажду я — томлюсь в плену забот,  
Ищу молчания — меня беседа ждет,  
К веселью тороплюсь — мне скука ставит  
сети.

Я болен, но всегда в карете иль верхом,  
В мечтах я музы жрец, на деле — эконоом,  
Ну можно ли, Морель, несчастней быть  
на свете!

Разве это стихотворение представляет лишь историко-литературный интерес? Разве не жжет сердце воплощенная в нем живая боль? Не поражает своеобразная «диалектика души»?

Ронсар, живший в те же годы, что и Дю Белле, но на четверть столетия переживший своего друга (1523—1585), был поэтом совершенно другого художественного склада. Искусство Левика как переводчика в том и сказалось, что, объединив в одной книге двух сверстников, он сумел воссоздать своеобразие каждого из них. Дю Белле захватывает нас глубиной своих раздумий, горечью всеобщей и личной неустроенности бытия. Ронсар пленяет изяществом стиха, красотой жизнерадостных образов, которые обращены

непосредственно к чувству. Вот как говорит с русским читателем Ронсар в переводе В. Левика:

Плененный в двадцать лет красавицей  
беспечной,  
Задумал я в стихах излить свой жар  
сердечный,  
Но, с чувствами язык французский  
согласив,  
Увидел, как он груб, неясен, некрасив.  
Тогда для Франции, для языка родного,  
Трудиться начал я отважно и сурово,  
Я множил, воскрешал, изобретал слова,  
И сотворенное прославила молва.  
Я, древних изучив, открыл свою дорогу,  
Порядок фразам дал, разнообразье слогу.  
Я строй поэзии нашел — и волей муз,  
Как Римлянин и Грек, великим стал  
француз.

Возвышенный взгляд на мир человеческих чувств, и в том числе на великое и бессмертное чувство любви, как бы пронизывает собой всю лирику Ронсара.

Но кто отверг любовь — несчастный  
человек!  
Отвергнут музами он будет сам навеки,  
Они не одарят его искусством слова,  
Он к хороводу их не будет приобщен,  
И влагу зачерпнуть уже не сможет он  
Для губ нелюбящих из родника святого.  
Я сам свидетель в том, и ты, мой друг,  
заметь:  
Едва хочу богов иль смертного воспеть,  
Немеет мой язык, мне слово не дается,  
Когда ж любви хвалу творят мой уста,  
Развязан мой язык, проходит немота,  
И песня без помех сама из сердца льется.

Общеизвестно, что право на полноценное существование обретает только то переволное произведение, которое становится явлением отечественной поэзии. Когда мы читаем строки: «Не позабуду этот блеск прекрасный двух карих глаз, двух солнц души моей», когда входит в нашу душу чувство, выраженное словами: «Лишь тихий вздох, прорвавшийся случайно, лишь грусть моя, лишь бледность говорит, как я люблю, как я терзаюсь тайно», то мы не только приобщаемся к прекрасному миру чувств и волнений французского поэта, жившего четыреста лет тому назад, — мы читаем прекрасные русские стихи.

В. Левик умеет сохранить свободу стиха и в то же время воспроизвести музыкальное звучание подлинника. Примечательна в этом смысле строфа:

Мой боярышник лесной,  
Ты весной  
У реки расцвел студеной,  
Будто сотней цепких рук,  
Весь вокруг  
Виноградом оплетенный.

В заключение следует сказать, что стихи Дю Белле и Ронсара выпущены издательством «Детская литература» в серии «Поэтическая библиотека школьника» и тем самым вошли в обиход школьного чтения наряду со стихами лучших русских и советских поэтов, уже появившимися или появляющимися в той же серии.

СРЕДИ КНИГ

Искусство перевода снова сыграло свою омолаживающую роль, благодаря которой произведения литературы, уже стареющие даже у себя на родине, потому что стареет и выходит из употребления язык, на котором они написаны, обретают новую жизнь, когда их воссоздает в другой стране другой мастер — на другом, но современном языке.

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН

## МУЖЕСТВО И ГОРЕЧЬ АНУА

Жан Ануай. Пьесы. Том 1—2. Составление В. Маликова и Ю. Яхниной. Переводы с французского под редакцией Е. Бабун. Послесловие Л. Зониной. Москва, «Искусство», 1969.

О ва томика пьес Жана Ануая вызывают у меня, режиссера, чувства особого рода. Перечитывая «Антигону», я невольно вспоминаю все творческие «перипетии» своей работы над спектаклем, который мне довелось ставить; читая «Жаворонка», «Коломбу», «Эвридику» и некоторые другие пьесы, я испытываю желание сместить письменный стол на режиссерский, мне хочется их поставить.

Я не берусь анализировать творчество этого известного французского драматурга. Л. Зонина в послесловии к двухтомнику делает это весьма серьезно и обстоятельно. Я могу поделиться своим субъективным и поэтому, очевидно, весьма односторонним ощущением драматургического мира Ануая.

Известно, что Ануай «начал свой путь драматурга с вызова буржуазному укладу, буржуазной морали». Отрицанием этого уклада, этой морали пронизано все его творчество.

Л. Зонина справедливо пишет, что «отрицание Ануая не подкреплено никаким положительным общественным идеалом». Но в этом отрицании, в нежелании успокаивать и утешать, в умении бесстрашно и порой презрительно взглянуть прямо в лицо самой неприглядной правде ощущается немалое мужество художника.

И мне начинает казаться, что эта мужественная, горькая нота должна быть камертоном всех спектаклей, которые невольно возникают в моем режиссерском сознании, или, вернее, еще в «подсознании».

Горечь, трезвость, беспощадная наблюдательность, отсутствие каких-либо романтических иллюзий — все это живет в пьесах Ануая. Самые чистые и благородные порывы его героев чаще всего приводят их к гибели. Мало того, он всегда сталкивает высокое с низким, поэтическое с пошлым, трагическое со смехотворным. Многие его пьесы словно предостерегают людей от наивной веры в возможность счастья.

От разочарований и компромиссов чаще всего избавляет смерть. Благополучие — почти всегда сделка, отречение от самого себя.

И все-таки, несмотря на утверждение столь горьких истин, в пьесах Ануая, на мой взгляд (повторяю, это, наверное, очень субъективно), нет атмосферы отчаяния, безнадежности. Я не могу присоединиться к сетованию французского критика по поводу Ануая: «Как жаль, что этот талант, это красноречие выливаются в небытие, в умелый фейерверк, озаряющий на мгновение пустой мрак».

Мир пьес Ануая не кажется мне «пустым мраком» — его озаряет прекрасная угловатость юности, гневной и скорбной, как чистое и хмурое лицо микеланджеловского Давида. Юность — великая надежда Ануая.

Ануай часто доказывает, что твердыня, оплот всякой несправедливости — безграничность и многоликость человеческого эгоизма. Но любовь Антигоны и Гемона, Орфея и Эвридики и других юных героев Ануая возвышается над эгоизмом, горит чистейшим пламенем, в котором сгорает чудовищная пошлость жизни. Любовь — тоже великая надежда Ануая.

Еще одно, тоже чаще всего связанное с юностью, — неукротимое своеобразие, почти грозное упрямство личности, неподкупность, стойкость.

Один из излюбленных мотивов Ануая — отказ от благополучия, от счастья, от покоя, от самой жизни, если ради них нужно смириться, отречься, свыкнуться, «устроиться». Две, может быть, самые прекрасные героини Ануая — Антигона и Жанна — говорят об этом в монологах, где высокая патетика удивительным и причудливым образом соединяется с великолепной иронией, с царственной насмешливостью.

«АНТИГОНА. Как вы все мне противны с вашим счастьем! С вашей жизнью, которую надо любить, какой бы она ни была. Вы, словно собаки, облизываете все, что найдете. Вот оно, жалкое, будничное счастье, надо только не быть слишком требовательным! А я хочу всего, и сразу, и пусть мое счастье будет полным, иначе мне не надо его совсем! Я вот не хочу быть скромной и довольствоваться подачкой, брошенной мне в награду за послушание. Я хочу сегодня же быть уверенной во всем, хочу, чтобы мое счастье было таким же прекрасным, каким я видела его в своих детских мечтах, — или пусть я умру...»

«ЖАННА. А я не хочу, чтобы все улаживалось... Я не хочу дожидаться вашего «со временем». Вы представляете себе Жанну, которая доживает до того, когда все уладится... Жанну, выпущенную на свободу, возможно, даже прозябающую при французском дворе на скромной пенсии?.. Жанну, все принявшую, Жанну раздобревшую, Жанну, превратившуюся в лакомку... Может представить себе Жанну нарумяненную... Жанну, увлекающую кавалеров, а может быть, даже Жанну замужнюю?.. А я не хочу никакого конца! Особенно такого! Никаких счастливых концов, никаких концов, которым нет конца!.. Вот это настоящая Жанна, только она и есть Жанна! И не та, которая распухнет, побледнеет и станет заговариваться в своей келье или же, если ее